

Александр Иванович Куприн

Попрыгунья-стрекоза



Александр Куприн
Попрыгунья-стрекоза

«Public Domain»

1910

Куприн А. И.

Попрыгунья-стрекоза / А. И. Куприн — «Public Domain», 1910

«Мы жили тогда в Рязанской губернии, в ста двадцати верстах от ближайшей станции железной дороги и в двадцати пяти верстах от большого торгового села Тумы. „Тума железная, а люди в ней каменные“, – так местные жители сами про себя говорили. Жили мы в старом, заброшенном имении, где в 1812 году был построен пленными французами огромный деревянный дом с колоннами и ими же был разбит громадный липовый парк в подражание Версалю...»

© Куприн А. И., 1910

© Public Domain, 1910

Александр Куприн Попрыгунья-стрекоза

Мы жили тогда в Рязанской губернии, в ста двадцати верстах от ближайшей станции железной дороги и в двадцати пяти верстах от большого торгового села Тумы. «Тума железная, а люди в ней каменные», – так местные жители сами про себя говорили. Жили мы в старом, заброшенном имении, где в 1812 году был построен пленными французами огромный деревянный дом с колоннами и ими же был разбит громадный липовый парк в подражание Версалию.

Представьте себе наше комическое положение: в нашем распоряжении двадцать три комнаты, но из них отапливается только одна, да и то так плохо, что в ней к утру замерзает вода и створки дверей покрываются инеем. Почта приходит то раз в неделю, то раз в два месяца, и привозит ее случайный мужичонка за пазухой своего зипуна, мокрого от снега, с размазанными адресами и со следами любознательности почтового чиновника. Вокруг нас столетний бор, где водятся медведи и откуда среди бела дня голодные волки забегают в окрестные села таскать зазевавшихся собачонок. Местное население говорит не понятным для нас певучим, цокающим и гокающим языком и смотрит на нас исподлобья, пристально, угрюмо и бесцеремонно. Оно убеждено твердо, что лес принадлежит богу и мужику, а управляющий имением немец-менонит из Сарепты, опустившийся и разленившийся от бездействия, только и знает, что ходит каждый день в лес отнимать топоры у мужиков-лесокрадов. К нашим услугам прекрасная французская библиотека XVIII столетия, но весь ее чудесный эльзевир обглодан мышами. А старинная портретная галерея в двухсветной зале, погибшая от сырости, плесени и дыма, скоробилась, почернела и потрескалась.

Представьте себе соседнюю деревню, всю занесенную снегом, представьте себе еще неизбежного в русской деревне дурачка Сережу, который ходит зимой почти голым, попа, который под праздник не играет в преферанс и пишет доносы, деревенского старосту – глупого, хитрого человека, дипломата и попрошайку, говорящего на ужасном «столичном» языке. Если вы все это себе представите, то вы, конечно, поймете, что мы дошли до скуки, до одурения. Нас уже больше не увлекали ни облавы на медведей, ни охота с гончими на зайцев, ни стрельба из пистолетов в цель, через три комнаты, на расстоянии двадцати пяти шагов, ни писание по вечерам совместных юмористических стихов. Признаться, мы перессорились между собою.

Да и то сказать: если бы нас спросили каждого поочередно, зачем мы приехали сюда, то, кажется, ни один не ответил бы на этот вопрос. Я в то время занимался живописью. Валериан Александрович писал символические стихи, а Васька увлекался Вагнером и играл призыв Тристана к Изольде на старых, разбитых, с пожелтевшими клавишами, клавикогдах.

К Рождеству деревня вдруг оживилась. На Тристенке, в Бородине, в Брылине, Шустове, Никифоровском, в Козлах мужики начали варить пиво, то самое густое, тяжелое пиво, от которого чугунеет лицо и руки делаются как лубки. Между крестьянами, несмотря на преддверие праздника, было настолько много пьяных, что в Дягилеве сын проломил своему отцу голову, вырвав с этой целью стяг из забора, а в Круглицах опился до смерти какой-то древний старик. Рождество невольно увлекло нас. Первый визит мы сделали на Попиху: к попу и псаломщику, потом забрели ни с того, ни с сего к церковному сторожу Андрею, потом к двум сельским учительницам, а потом все пошло очень легко: от учительниц мы попали к доктору в Туму, потом к волостному писарю, где нас ожидал целый банкет, затем к уряднику, к хромоногому фельдшеру, потом к местному кулаку, Василию Егорову, который скупал со всей окрестности шкуры, холст, зерно, лес, кнуты, лукошки и веретена. И пошло и поехало!..

Нужно признаться, что мы чувствовали себя немного неловко. Мы никак не могли войти в темп этой жизни, которая устоялась в течение множества лет. Несмотря на нашу внешнюю

развязность, мы все-таки были людьми с другой планеты. Выходило так, что мы наших соседей рассматривали в микроскоп, а они нас – в телескоп. Правда, мы делали попытки притвориться своими людьми, – такими веселыми малыми в русском стиле. Когда у псаломщика девица сорока лет, Анна Игнатьевна, с мозолистыми руками, которыми она обыкновенно сама запрягала шоколадного мерина и возила на салазках бадью с водой, которую сама же вытягивала обледелой веревкой из вонючего колодца, – когда она вдруг на вечеринке делала стыдливый вид, потупляла глаза, разводила руки и пела:

Ондрей Николаевич,
Доступаем, доступаем мы до вас,
Беспокоить хотим вас, хотим вас.
Беспокой прошу, покорно приношу, —
Кого любишь, того выбери,
За собою поведи, поведи,
Молодой назови, назови —

тогда мы храбро целовали ее в самые губы, несмотря на ее притворное сопротивление и кокетливый визг, что, конечно, полагалось по обычаю. После этих насильственных поцелуечиков мы все становились в круг: четверо отпускных семинаристов, псаломщик, экономка из соседнего имения, две сельские учительницы, урядник в штатской форме, дьякон, местный фельдшер и мы – три эстета, искавшие в то время аристократической, изысканной красоты в звуках, словах и красках. Стараясь держать себя возможно лучше, мы кружились в общем хороводе налево и направо при общем реве и топоте, в то время как герой, распорядитель танцев и местный лев семинарист Воздвиженский носился по всей комнате, выделявая балетные па и щелкая над головой пальцами.

Как во городе королевна, королевна,
По-загороду королевич, королевич,
Молодой сын-короличек гуляе,
Он гуляе,
Он невесту себе выглядае, выглядае, —
Не моя ли расхорошая гуляе, там гуляе,
Золотой перстень воссияе, воссияе.

Потом вдруг хоровод останавливался, и все начинали петь уже несколько в другом, торжественном тоне:

Растворились королевские ворота,
Король королевне поклонился,
Королевна ему еще ниже.

И тут фельдшер и псаломщица выступали друг против друга и низко кланялись друг другу, а хор продолжал:

Ты подвинься, сударчик, поближе,
Прижмись ко груди потеснее,
Поцелуй, поцелуй понежнее.

Наконец мы попали в министерскую тумскую школу. Этого нельзя было избежать: раньше там было около пятнадцати репетиций, на которых детей дрессировали, как ученых собак, и, кажется, особенно имели при этом в виду нас, петербургских гостей. Мы пошли. Елка сразу разожглась благодаря пороховому шнуру. Что касается программы, то я знал ее заранее наизусть... «Я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. – А кой те годочек? – Шестой миновал». Хотя надо сказать, что крошечный шестилетний мужичонка в огромной шапке из собачьего меха и в отцовских кожаных рукавицах об одном пальце – настоящий прирожденный артист – был очарователен со своей важной серьезностью и сиплым баском.

Остальное, нужно сказать, было очень гнусно сделано. В таком ложном народном духе.

Мне давно знакомы эти обычные номера: «Демьянова уха» в лицах, почему-то малорусские песни с исковерканным донельзя произношением, какие-то стишки слащавого дамского рукоделия, которые были исполнены хором: «Вот рождественская елка, днесь сегодня собрались, вот Петрушка, вот лошадка, вот и целый паровоз». Учитель, маленький, чахоточный человек, в длинном сюртуке и крахмаленном белье, одетом, очевидно, только на этот случай, то играл на скрипке, то дирижировал смычком, то задавал тон до-ми-соль-ми и время от времени стучал смычком по головам мальчишек.

Местный попечитель училища, нотариус из заштатного городка, от умиления жевал губами и высовывал толстый, точно у попугая, короткий язык, потому что вся эта дрессировка была сделана в его честь.

Наконец учитель подошел к самому лучшему номеру своей программы. До сих пор мы смеялись, но тут нам пришлось почти заплакать. Вышла вперед маленькая девочка, лет двенадцати-тринадцати, дочь стражника, кстати, очень похожая на него лошадиным профилем и, конечно, первая ученица в училище, и начала:

Попрыгунья-стрекоза лето красное пропела,
Оглянуться не успела, как зима катит в глаза.

«Кумушка, мне странно это, – рассудительно заговорил шершавый мальчишка в отцовских валенках, так лет семи. – А работала ль ты в лето?»

«До того ль, голубчик, было в мягких муравах у нас...» – ответила дочка стражника.

И вот тут-то и сказалось прославленное русское гостеприимство.

Стрекоза отвечает: «Я все пела».

И тут учитель Капитоныч взмахнул одновременно скрипкой и смычком, – о, это был эффект, давно подготовленный! – и вдруг таинственным полупшепотом весь хор начал петь:

Ты все пела, это – дело,
Так поди же попляши,
Так поди же, так поди же,
Так поди же попляши.

Мне вовсе не трудно сознаться в том, что в это время у меня волосы стали дыбом, как стеклянные трубки, и мне казалось, что глаза этой детворы и глаза всех набившихся битком в школу мужиков и баб устремлены только на меня, и даже больше, – что глаза полтораэта миллионов глядят на меня, точно повторяя эту проклятую фразу: «Ты все пела, это – дело, так поди же попляши. Так поди же попляши».

Не знаю, как долго тянулось это монотонное, журчащее и в то же время какое-то злое и язвительное причитание. Но помню ясно, что в те минуты тяжелая, печальная и страшная мысль точно разверзлась в моем уме. «Вот, – думал я, – стоим мы, малая кучка интелли-

гентов, лицом к лицу с неисчислимым, самым загадочным, великим и угнетенным народом на свете. Что связывает нас с ним? Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. Наша поэзия – смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись – для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наше богоискательство и богостроительство – сплошная блажь для него, верующего одинаково свято и в Параскеву-Пятницу и в лешего с баешником, который водится в бане. Наша музыка кажется ему скучным шумом. Наша наука недостаточна ему. Наш сложный труд смешон и жалок ему, так мудро, терпеливо и просто оплодотворяющему жесткое лоно природы. Да. В страшный день ответа что мы скажем этому ребенку и зверю, мудрецу и животному, этому многомиллионному великану? Ничего. Скажем с тоской: „Я все пела“. И он ответит нам с коварной мужицкой улыбкой: „Так поди же попляши“...»

Я не знаю также, как это поняли мои товарищи, но из министерского училища мы вышли молча, не обменявшись впечатлениями.

Через три дня мы разъехались, и до сих пор между нами холодные отношения. Вышло так, как будто бы невинными устами этих сопливых мальчишек и девчонок нам произнесли самый тяжелый, бесповоротный смертный приговор. И когда я ехал обратно от стоешника Ивана Александровича Караулова до Горели и от Горели до Козлов и от Козлов до Зиньтабров и дальше по железной дороге, меня все время преследовал этот иронический, как будто бы злой, напев: «Так поди же попляши».

Только один бог знает судьбы русского народа... Ну, что же, если нужно будет, попляшем!

Я ехал целую ночь до станции.

На голых, обледенелых ветвях березы сидели звезды, как будто бы сам бог внимательной рукой украсил деревья. Я думал о том, что это красиво, но уже никак не мог, как и теперь не могу, отделаться от мысли: «Так поди же попляши»...